

ВИКТОР
СЕВЕРНЫЙ

ГОРОД
АРХАНГЕЛА



18+

Виктор Северный

Город Архангела

<https://litres.ru/74346447>

SelfPub; 2026

Аннотация

Архангельск, 1978 год. Деревянные бараки, вечная сырость и солдатский ремень отца вместо воспитания. Двенадцатилетний Моня выживает как может: терпит побои матери, проглатывает унижения в школе и получает первую настоящую взбучку от соломбальской шпаны.

Его семьей становятся пацаны из подвальной качалки под руководством Коли Печёрина. Они учат главному закону улицы: своих не бросают. Но скоро советская империя рухнет, джинсы сменятся стволами, а братское рукопожатие начнет стоить дешевле контрольного пакета акций лесопилки.

«Город Архангела» — суровая сага об одном поколении без романтического глянца. Здесь нет королей криминального мира. Есть только свидетели краха, замерзающие на пустынных площадях. Моня выживет. Вопрос - останется ли при этом человеком.

Моня лежал так долго, пока холод не начал пробираться до костей. Потом сел, отряхнул снег... Каждый шаг отдавался болью в ребрах. Он шел и думал: «Запомни. Запомни этот день. Запомни их лица. Ты вернешься. Ты обязательно вернешься».

Содержание

Глава 1	4
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Виктор Северный

Город Архангела

Глава 1

От автора

Эта книга могла бы остаться черновиком в столе. Или пачкой пожелтевших писем, которые моя мать так и не решилась отправить отцу на зону. Но я достал их.

Я родился и вырос в Архангельске. В том самом городе из этой книги. На левом берегу, в деревянном бараке с печным отоплением. И да, значительная часть того, что вы прочитаете дальше, произошла со мной или на моих глазах.

Я знал этих людей. Не всех под теми именами, что стоят в тексте — многие уже заплатили за свои истории кто пулей, кто тюрьмой, а кто инфарктом в сорок лет. Коля Печёрин существовал. XXX действительно сожгли в овраге под Сочи во время той злополучной поездки южан на север. Ремень, которым меня воспитывала мать, до сих пор в шкафу — тяжелая, потертая кожа бати-алкоголика. Парни разных районов и улиц и городов Архангельска-Северодвинска-Архбума реально ходили стенка на стенку.

Но эта книга — не мемуары. Память избирательна и часто

лжет, сглаживая углы там, где было слишком больно. Поэтому я изменил факты.

Я поменял даты некоторых стрелок, объединил нескольких реальных братков в одного персонажа, чтобы сделать арку цельной, и перенес пару событий из 1993-го в 1995-й ради ритма повествования. Архангельск здесь настоящий — его запах мокрого угля, свежей доски из которой делали тротуары, Белого моря — подделать невозможно. А вот хронология улиц слегка переписана, чтобы история читалась как единый выдох, а не как протокол осмотра места происшествия.

Кто-то спросит: зачем писать об этом сейчас? Чтобы романтизировать бандитов? Нет.

Романтизация девяностых — это глянцевый пиджак на вешалке. Реальность пахла дешевым спиртом, кровью на утоптанном снегу и безнадегой матери, которая вкалывает на заводе в ночную смену, потому что мужа нет, а сына надо кормить.

Мы выросли на развалинах империи. Мы искренне верили в уличное братство, пока не поняли, что брата можно продать за право торговать джинсами на рынке. Эта книга о цене, которую мое поколение заплатило за свою наивность. О том, как эпоха ломает хребет даже самым крепким. Моня выжил. Многие другие — нет. Я пишу за них тоже.

Если вы узнаете себя или своих знакомых в ком-то из героев — живите долго. Значит, мы жили в одно и то же страшное но честное время.

Глава 1. Материнский ремень

Архангельск просыпался в феврале тяжело, как старый, больной зверь, которого забыли добить еще прошлой осенью. Серое небо висело над городом так низко, что казалось — дотронься до него рукой в серой варежке, и оно промокнет, осядет грязной ватой прямо тебе на голову. Дым из труб ТЭЦ стлался по земле сизыми пластами, смешиваясь с выхлопами редких «Жигулей» и паром из отдушин канализации. Весь этот мокрый, тяжелый воздух оседал на лица прохожих липкой изморозью, превращая людей в серые тени самих себя. На улице Урицкого, где деревянные бараки вросли в землю по самые подоконники, снег никогда не был белым. Он лежал спрессованным панцирем, черным от угольной пыли, рыжего песка, которым посыпали лед дворники, и копоты времени, которое здесь, казалось, замерзло навсегда.

В одном из таких бараков, в квартире номер четыре на втором этаже, пахло щами из квашеной капусты, едким хозяйственным мылом «72%» и вечной сыростью, которая идет от земли даже сквозь бетонный фундамент. Линолеум на кухне, когда-то бывший веселеньким, в мелкий розовый цветочек, теперь протерся до желтого войлочного основания возле плиты. На стене, пришпиленный канцелярской кноп-

кой к обоям в блеклый ромбик, висел отрывной календарь. Красное число смотрело на Моню равнодушно.

На картинке внизу листа плыл парусник. Беломорск. Борта корабля были белыми, паруса — алыми, море — синим. Глянцевая бумага календаря пузырилась от влаги. Моня каждый день, просыпаясь, смотрел на эту картинку ровно три секунды. Он представлял, как спускает веревочную лестницу, перебирается через фальшборт и отталкивает шлюпку веслом от гнилого причала родного города. Где-то там, за горизонтом этого бумажного моря, нет школы номер сорок два, нет материнского ремня и нет взгляда, от которого хочется провалиться сквозь доски пола прямо в подвал к крысам.

Но сегодня он не успел посмотреть на корабль. Сегодня он проснулся от тишины. От тяжелой, давящей тишины, которую мать всегда приносила с ночной смены со шпалопропиточного завода. Она стояла у плиты спиной к нему. Спина была узкая, острая, натянувшая на себя выцветший фланелевый халат. От неё шел жар чугунной сковороды и холод бессонной ночи. Моня знал — она ждет. Ждет, пока он спустит ноги с дивана, шаркнет пятками по линолеуму, плеснет в лицо ржавой водой из-под крана и сядет за стол. Всё равно она найдет повод.

Моня сел. Его тень упала на стену, превратившись в горбатого карлика. Ему было двенадцать лет, но выглядел он младше — щуплый, бледный после зимы мальчишка. Одна-

ко внутри него чувствовалась какая-то жилистая, собранная сила, как у старой автомобильной покрышки, которую долго мяли, но так и не смогли порвать. Лицо его обрамляли светлые, почти белые волосы, вечно стоявшие дыбом, сколько бы мать ни пыталась пригладить их мокрой ладонью. И глаза — темные, глубоко посаженные, которые смотрели на мир с настороженностью подбитого зверька, привыкшего, что удар может прилететь с любой стороны, даже если вокруг никого нет.

Он налил себе щей из эмалированной кастрюли. Суп был жидким, цвета болотной воды. Одна разварившаяся картофелина, кусок свиного сала, ставший прозрачным от долгого кипения, и бесконечная кислота капусты. Хлеб лежал на газете «Правда Севера», порезанный неровными, крошащимися ломтями. Моня макнул хлеб в тарелку. Жирное пятно расплылось по программе передач телевидения.

Мать всё это время молчала. Она терла белье в цинковом тазу. Вода давно стала черной от грязи, но она продолжала крутить тяжелую сырую простыню в руках, выкручивая её изо всех сил. Суставы пальцев побелели. Плечи у неё были острые, птичьи, и халат висел на них, как на огородном пугале. Волосы, когда-то русые, казались теперь пепельными — то ли от ранней седины, то ли от вьевшейся заводской пыли, которую невозможно было вытравить никаким дегтярным мылом.

— Двойку опять принес? — спросила она наконец. Го-

лос звучал глухо, словно горло тоже затянуло сажей. Вопрос прозвучал не глядя. Она спрашивала его именно так каждое утро, будто сверяла часы.

Моня замер. Ложка застыла на полпути ко рту. Он знал этот вопрос. Это был пароль. Если скажешь «да» — получишь сразу. Если соврешь — получишь вдвойне, когда правда всплывет вечером. — Нет, — сказал он тихо. — Нормально все. Контрольную писали.

Мать бросила простыню обратно в воду с громким шлепком. Вытерла руки о подол, подошла и села напротив. Табурет скрипнул под её весом. Она смотрела на него так, что Моня почувствовал, как внутри живота сворачивается холодный, скользкий комок. Она умела смотреть — прямо, не мигая, чуть наклонив голову набок. В этом взгляде читалось всё: усталость тридцати пяти лет, злость на мужа, который сгинул, боль от того, что жизнь прошла вот здесь, между плитой и корытом, и странная, иррациональная надежда, что сын вырвется. — Врешь, — сказала она спокойно. Без криков, без истерики. Просто констатируя факт, как врач ставит диагноз. — Дневник давай.

Моня тяжело вздохнул. Воздух вышел из легких со свистом. Лезть в сумку не хотелось, но он знал алгоритм. Если он сейчас не достанет этот потертый дерматиновый кирпич, она встанет, подойдет и сама начнет рвать подкладку портфеля, выбрасывая на пол старые тетради и огрызки карандашей. Он медленно вытащил дневник. Коричневый, с вы-

давленным золотом гербом СССР на обложке, который уже стерся до блеска олова.

Она раскрыла его на нужной странице. Палец с коротко стриженным ногтем ткнул в красную пасту. Жирная двойка. Неаккуратная, злая. И ниже — замечание, выведенное учительским почерком с нажимом, так что бумага продавилась насквозь: «Грубил на уроке! Вызывали родителей!»

Мать молчала долго. Слышно было только, как капает вода из плохо закрытого крана. Кап. Кап. Кап. Как метроном перед расстрелом. Моня смотрел в окно. Там, за двойным стеклом, в котором виднелись мутные пузырьки воздуха, кружился серый снежный крошево. Виднелся забор соседнего дома и кусок такого же низкого, безнадёжного неба. — Опять? — спросила она так тихо, что он едва расслышал слово за шумом ветра в трубе. — За что? — Училка придирается, — буркнул Моня, разглядывая трещину на клеенке. — Я руку поднял. А она говорит — сиди. Потом к доске вызвала, а я не выучил параграф. Ну, не успел вчера, сами знаете, дрова колоть ходили. А она мне — «два». Сразу. Даже не спросила ничего. А я ей сказал, что она несправедливая. — Сказал, — повторила мать. Слово упало на стол тяжелым камнем. — Ты сказал Марье Петровне, заслуженному учителю РСФСР, что она несправедливая. И теперь у тебя двойка. Замечание. И вызов родителей красной строкой в конце недели. — Ну и что, — выдавил Моня, сжимая край стола так, что побелели костяшки. — Вы всё равно не пойдете. Вы

же всегда говорите, что вам некогда, что план горит.

Она посмотрела на него долгим, тяжелым взглядом. Затем встала. Деревянные половицы застонали. Она направилась к старому шифоньеру в углу кухни. Скрипнула дверца. Занавеска, заменявшая дверь шкафа, отъехала в сторону. Мать положила руку на верхнюю полку, куда Моня никогда не лазил. Там, завернутый в пожелтевшую газету, лежал солдатский ремень отца. Тяжелая портупея с массивной латунной пряжкой, на которой звезда уже потускнела от времени. Мужу, которого она ненавидела лютой ненавистью, но фамилию которого исправно носила сама и заставила носить сына. Отцу, которого Моня никогда не видел, но чьи широкие плечи мерещились ему иногда в темноте.

— Ложись, — сказала она глухо, не оборачиваясь. Голос был пустым. — На табуретку.

Моня не удивился. Обида испарилась, остался только сухой, клинический протокол действий. Он встал. Ноги были ватными. Он отодвинул стул, подошел к табуретке, стоящей у плиты — той самой, на которой чистили рыбу. Лег на неё животом. Холодное, крашеное дерево прижалось к щеке. Он знал, как надо лежать. Нужно лечь максимально плотно, грудью и бедрами, чтобы ноги твердо стояли на полу. Так меньше шансов сорваться и грохнуться на пол, добавив к позору синяк на подбородке. Нужно приподнять зад выше спины, чтобы ремень бил по мягкому, обжигая кожу, а не хлестал по костям таза.

Он уткнулся лицом в сгиб локтя. Уставился в угол, где обои темнели большим влажным пятном от протёкшей трубы отопления. Пятно напоминало карту Африки. Моня ждал. Ремень жил своей жизнью. Он слышал, как мать взяла его. Как кожа трется о кожу.

Свист. Первый удар пришелся точно по центру ягодиц. Боль была резкой, горячей, мгновенной. Но Моня не вскрикнул. Он научился главному правилу выживания в этом доме: крик — это слабость. Крик дает палачу силы. Он стиснул зубы так, что в ушах зазвенело, и сжал край сиденья пальцами до судороги. — Чтобы не грубил! — голос матери становился всё громче, выше. Казалось, она бьет не его, маленького мальчика, а кого-то огромного, невидимого, кто стоит за его спиной. — Чтобы старших уважал! Второй удар — выше, ближе к пояснице. Кожа там тоньше, больнее. Третий — снова туда же, по уже горящему месту. Мозг отказывался принимать, что один и тот же кусок тела можно мучить бесконечно.

Моня считал. Это помогало отключаться от реальности. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Он думал не о ремне. Он думал о Светке из своего «Б» класса. Рыжая, вся в конопушках, которые весной расцветали на переносице, как созвездие. У неё были две смешные косички, перевязанные белыми капроновыми лентами, которые торчали из-под шапки, как мышьи хвостики. Она сидела за первой партой, прямо под носом у химички. Моня часто смотрел на

неё, когда учительница отворачивалась к доске писать формулы валентности. Светка никогда не замечала его. А если и замечала, то только для того, чтобы фыркнуть, увидев его рванный ранец или штопаные-перештопаные штаны. Но Мона всё равно думал о ней. О том, как она поправляет косички точеным движением пальчиков. Как звонко смеётся на перемене, запрокинув голову. Как пахнет от неё морозом, яблоками и чем-то сладким, пудровым.

И сейчас, лежа на кухонной табуретке, пока мать вкладывала в удары всю свою ночную смену, он представил, что Светка смотрит на него через окно. Что она видит не плачущего пацана, которого секут как сидорову козу. Она видит сильного парня. Воина. Который принимает боль молча, победив её силой воли. Шесть... семь... восемь...

Ему вдруг невыносимо захотелось нарисовать парусник на календаре. Не тот, глянцевый, типографский. Свой. Огромный, трехмачтовый фрегат с алыми парусами из самого дорогого сатина. Чтобы он прорубал льды Северной Двины своим форштевнем и уходил к теплому морю. Где нет снега. Где женщины носят яркие платья. И где матери не поднимают на детей руку, потому что те принесли плохую оценку. — Чтоб человеком вырос! — крикнула мать, и голос её сорвался на высокой ноте, перейдя в хрип. Слезы текли по её лицу, оставляя бороздки в слое въевшейся пыли. — Не как твой отец! Не тюрьма! Не пьянь подзаборная!

Девятый удар. Десятый. На десятом она остановилась. За-

пыхалась. Ремень повис вдоль её руки тяжелой змеей. Она тяжело дышала открытым ртом, хватая воздух, как рыба на льду. Устала она не столько физически, сколько морально. Бил не впустую. Вкладывала в каждый удар свое бессилие перед системой, перед заводом, перед одиночеством.

Моня лежал неподвижно. Он не плакал. Он разучился плакать от боли года два назад, когда понял, что слезы только веселят тех, кто сильнее. Слёзы жгли глаза изнутри, скапливались в уголках, но наружу не выходили. Они высыхали там, превращаясь в соль.

Мать опустила ремень на пол. Звук получился глухим, жалким. — Иди в комнату, — сказала она устало, почти безразлично. — Уроки учи. Чтоб я сегодня больше твоего голоса не слышала. Никаких двоек.

Моня медленно встал. Поправил штаны. Резинка трико больно впилась в обожженную кожу. Ткань спортивных шаровар мгновенно прилипла к горячей влаге выступивших капель крови. Он не посмотрел на мать. Прошёл мимо неё, задел плечом острый угол дверного косяка, даже не поморщившись, и вышел в коридор. Там пахло сыростью, кошачьей мочой из подвала и старыми половицами, которые помнили еще царя-батюшку.

В маленькой комнате, которую они делили, стояли два старых пружинных дивана, этажерка с пыльными книгами Ленина и письменный стол, залитый чернилами. На стене, приколотая теми же кнопками, висела вырезанная из жур-

нала «Смена» фотография Владимира Высоцкого с гитарой. Он смотрел с неё тяжелым, пронзительным взглядом. Моря рухнул на свой диван, пружины жалобно взвизгнули. Стянул штаны и посмотрел на ноги.

Кожа была свекольного цвета. С темными, набухающими полосами шириной в ладонь. Он провел пальцем по одной из них. Горячо. Больно, но терпимо. Завтра будут синяки. Настоящие, черно-лиловые. На физкультуру он не пойдет. Скажет Анне Сергеевне, что болит голова и тошнит. Она поверит — дети рабочих болеют часто.

Он лег на спину, закинув руки за голову. Уставился в потолок. На штукатурке, в самом углу над окном, шла глубокая извилистая трещина. Моря часто разглядывал её, когда мать уходила на работу, придумывая, что это не трещина, а карта какого-то необитаемого острова. Вот бухта, вот гора, вот река. И его корабль сейчас причаливает к этому песчаному берегу. Там пальмы. Там теплынь градусов тридцать. И никто его не бьет. Никто не заставляет колоть дрова. И Светка стоит на берегу, машет ему белым платком, и её веснушки сияют на солнце, как золотой песок.

Но сейчас он думал не о море. Он думал об отце. Мать почти никогда о нём не говорила. А если слова всё-таки прорывались, то только сочились такой концентрированной ненавистью, что ею можно было заправлять лампы: «алкоголик», «бездельник», «пропадающий человек», «чтоб его черти взяли». Моря ни разу его не видел. Отец ушел, когда сыну было года

два, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка в коридоре. Больше он не появлялся. Ни алиментов, ни открыток. Только фамилия Волошин, которая тянула Моню на дно похлеще любого камня.

Но иногда, в такие вечера, когда тело горело от ремня, а душа — от унижения, Моня рисовал отца в голове сам. Высокий, сильный, с широкими плечами и добрыми глазами цвета весеннего льда. Таким, кто мог бы взять его на рыбалку. Таким, кто вошел бы сейчас на кухню, увидел ремень в руках жены и одним ударом выбил бы его в форточку. Моня думал: если бы отец был рядом, мать не была бы его так часто. Может, она вообще боялась бы поднять руку. Но отца не было. И заступаться было некому.

Он встал. Подошел к столу, заваленному учебниками. Открыл тетрадь по алгебре. Надо было делать уроки — решать эти дурацкие уравнения с иксами и игреками. Но он не мог сосредоточиться. Перед глазами стояла красная двойка. И лицо Марьи Петровны — пожилой женщины с химической завивкой, которая смотрела на него с гадливой, брезгливой улыбкой, когда он дерзко ответил про несправедливость оценки. Он ведь был прав. Он действительно поднял руку первым. Он знал ответ. Но правда никому не была нужна. Ни учительнице, которой нужно было утвердить свою власть над классом. Ни матери, которой нужно было выместить злобу за сломанную жизнь. Ни тем пацанам, которые ждали его за школой, чтобы отобрать сменку и встряхнуть гри-

венники на мороженое.

Моня взял дневник. Нашел страницу с двойкой. Аккуратно подцепил край листа ногтем. Перегнул. Потянул. Бумага тихо, предательски хрустнула, отделяясь от корешка. Он смял листок в тугий белый шар. Потом развернул его, аккуратно расправил на коленке, будто делал какое-то важное государственное дело. Встал, прошел на кухню. Мать уже лежала на своем диване лицом к спинке. Из-за ситцевой ширмы, разделявшей комнату пополам, слышалось её ровное, глубокое дыхание. Она засыпала быстро — смена с шести вечера до шести утра высасывала из человека все соки. Моня знал — она будет спать мертвым сном уставшего механизма, и можно будет не бояться, что она проснется от скрипа двери.

Он открыл чугунную дверцу печки-голландки, которая топилась углем и грела обе комнаты. Внутри ещё тлели багровые угли. Моня бросил измятый листок в огонь. Бумага вспыхнула ярко, почти бесшумно. Лист корчился, чернел по краям, буквы поплыли красным, потом превратились в черный пепел, который рассыпался от легкого дуновения теплого воздуха. Он смотрел, как пламя пожирает двойку. Как исчезает замечание. Как красные чернила становятся дымом. И в этом огне ему почудилась какая-то своя, детская справедливость. Он не знал, как назвать это чувство — катарсис, очищение, бунт — но внутри закипала глухая, темная ярость. Та самая, которая не находит выхода в слезах и не

выплескивается в криках. Которая копится где-то в груди, как уголь в топке паровоза, давая силу двигаться дальше.

Школа встретила его гулом голосов на перемене и запахом хлорки из туалета на первом этаже. Он сидел на последней парте, у окна, подальше от учительских глаз. Парты были исписаны поколениями двоечников. «Цой жив», «Лысый — козел», голая баба, нацарапанная гвоздем настолько неумело, что больше походила на топор. За окном валил снег. Мелкий, противный, сухой снег, который не лепился в снеговика, а лез за воротник рубашки, таял на шее и стекал ледяной струйкой между лопаток.

Учительница алгебры, пожилая Анна Сергеевна с перманентом, похожим на шлем, снова вызвала его к доске. — Трубицин, иди реши пример. Моня нехотя поднялся. — Можно сесть? — спросил он. — У меня нога болит. Радикулит, наверное. Продуло. Она смерила его подозрительным взглядом поверх очков. Знала, что врет. Но устраивать цирк ради одного примера не захотела. — Садись, — махнула она рукой. — Трояк тебе за полугодие, смотри у меня.

Он сел. Снова уставился в окно. Формулы на доске казались клинописью инопланетян. К чему ему эти иксы и игреки? Зачем искать скорость поезда, вышедшего из пункта А, если ты знаешь, что никогда не выберешься из пункта Урицкого? Когда завтра нужно будет выживать на улице. Догова-

риваться с Васькой Косым за место в хоккейной коробке. Делить территорию гаражей.

Он перевел взгляд на Светку. Она сидела за первой партой, прямо перед учителем. Такая близкая и такая недостижимая. Сейчас она была сосредоточена, выводила что-то в тетради идеальным каллиграфическим почерком. Её рыжие косички, перетянутые резинками с пластмассовыми шариками, лежали на худеньких плечах. На щеке, ближе к уху, красовалась россыпь веснушек — Моня знал по прошлому лету, что к июню их станет в десять раз больше, они сольются в сплошной загар. Она повернула голову, сдувая прядь волос с лица, и он увидел её профиль. Острый носик, пухлые губы, которые она постоянно покусывала, когда думала. Светка была красивой. По-своему, по-деревенски, крепко сбитая, как яблоко-антоновка. И Моня каждый раз, когда смотрел на неё дольше двух секунд, чувствовал, как внутри грудной клетки разливается что-то теплое, совсем не похожее на утреннюю злость. Что-то большое и светлое, от чего становилось трудно дышать.

Но Светка не смотрела на него. Она перешептывалась с соседкой по парте, толстой отличницей Ленкой, и вдруг рассмеялась — звонко, заливисто, на весь притихший класс. Смех метнулся к потолку и вернулся обратно. Моня почувствовал, как краска заливает шею и уши. Жарко стало даже спине. Он был уверен — смеются над ним. Наверняка заметили, как он пялился. Или опять увидели дырку на его кедах,

откуда вылезает большой палец в синем нитяном носке.

Он опустил глаза. Уставился в парту. На коричневый пластик была наклеена переводная картинка с Микки Маусом — старая, пузырящаяся. Рядом кто-то выцарапал ножом неприличное слово. Моня провел пальцем по бороздкам. После уроков он одевался медленнее всех. Специально. Тянул время, надеясь, что школьный двор опустеет и можно будет пройти домой центральной дорогой, минуя опасный участок. Сумка была тяжелой — помимо учебников, там лежали коньки, которые он должен был отдать в ремонт, но забыл.

Он накинул старую куртку на рыбьем меху, застегнул металлическую молнию «трактор» ровно до половины — бегунок намертво заклинило на уровне солнечного сплетения. Надел вязаную шапку, которую мать связала сама из колючей серой шерсти, и вышел на крыльцо.

Снег скрипел под ногами так громко, что звенело в ушах. Мороз к вечеру прихватил лужи стеклянной коркой. Школьный двор был пуст — все нормальные дети уже разбежались по домам пить чай с батоном и смотреть «Спокойной ночи, малыши». Только на лавочке у трансформаторной будки сидел Вовка Баранов, его одноклассник. Он ковырял палкой смерзшийся сугроб, делая вид, что ищет клад.

— Моня, — окликнул он, пряча глаза. — Ты домой? — Ага. — Айда через Обводный. Сократим минут десять. А то мамка заругает, темно уже.

Моня внутренне содрогнулся. Обводный канал зимой —

это граница миров. Граница между их районом — относительно спокойным центром, и Соломбалой. Островом корабелов, бандитов и пьяни. Древний закон гласил: свои ходят по своим улицам. Пересек черту — готовься платить. Старшие соломбальские парни, лет по шестнадцать-семнадцать, считали своим долгом чистить карманы любому чужаку, рискнувшему сунуться на их брусчатку. Идти в обход, по набережной Павлина Виноградова, было дольше, ветрено и холодно. Но идти через канал было страшно.

— Пошли, — кивнул Моня, стараясь говорить уверенно. Страх скрутило в узел и спрятало поглубже. Нельзя показывать страх. Собаки чуют страх. Люди чуют страх. Если Вовка увидит, что он трус, завтра об этом узнает вся школа.

Они свернули за угол школы, прошли мимо памятника каким-то революционерам, покрытым голубиным пометом, и вышли к гранитной набережной Обводного канала. Черная, маслянистая вода лениво текла под тонким, ноздреватым льдом. Пароходы давно встали на прикол до весны. По берегам громоздились ржавые железные гаражи-«ракушки», кое-где с выбитыми напрочь воротами. Из черных провалов тянуло мазутом, прелым деревом и кислятиной.

Снег здесь был перемешан с песком, солью и угольной крошкой. Он хрустел на зубах, как битое стекло. Ветер гулял вдоль канала беспрепятственно, завывая в железных ребрах крыш, и от этого холода становилось еще больше. Казалось, город вымораживает из тебя остатки тепла.

— Слышь, Моня, — заговорил Вовка, пытаясь заполнить гнетущую тишину. Он всегда начинал болтать, когда нервничал. — А правда, что твоя мать тебя ремнем бьет?

Моня резко остановился, как будто налетел на невидимую стену. Развернулся к Вовке всем корпусом. Тот испуганно отшатнулся, едва не потеряв равновесие и не свалившись в грязный сугроб. — Не твоё дело, — сказал Моня тихо. Но в голосе его была такая сталь, такая низкая вибрация угрозы, что Вовка сглотнул вставший в горле ком. — Да я чего... я просто спросил... Соседка видела... — Заткнись, — отрезал Моня.

Они пошли дальше молча. Теперь Вовка держался на полшага позади. Моня затылком чувствовал его напряженный взгляд. Но главное — он чувствовал, что Вовка теперь боится его. Немного, самую малость. Значит, маска работает. Значит, он умеет быть страшным, когда надо. Значит, в нем есть что-то такое, от чего люди делают шаг назад. Это знание было горьким, но приятным. Оно грело лучше водки.

Они как раз проходили мимо крайнего гаража, номер на котором был сорван, оставив после себя лишь четыре ржавых отверстия, когда из-за железной створки вышли трое. Они появились беззвучно, просто выступили из тени, как призраки.

Моня сразу понял — не свои. Свои так не стоят. Свои сидят на кортах, сплёвывают семечки. Эти были постарше, лет по шестнадцать-семнадцать. Крепкие, широкие в кости. В

одинаковых черных телогрейках, какие выдают рабочим на лесопилке. В вязаных черных шапках, натянутых до самых бровей. Один, самый высокий, лениво курил папиросу «Беломорканал», сплевывая в снег желтоватую слюну.

— Эй, мелкие, — сказал тот, что стоял в центре. Голос был ленивый, властный, скучающий. — Стоять. Канарейки полетели.

Моня замер. Инстинкт орал — бежать. Но ноги стали ватными. Вовка остановился рядом, буквально впечатавшись плечом в плечо Мони. Моня чувствовал, как у того трясутся коленки — мелкая, высокочастотная дрожь, переходящая в позвоночник. Сам Моня почувствовал, как сердце пропустило удар, а затем забилось часто-часто, где-то в самом горле, мешая дышать. Но он заставил себя не дергаться. Заставил себя стоять ровно. Смотреть прямо перед собой, на этих троих.

— Чего? — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без петуха. Получилось неплохо. — С какой улицы? — спросил старший, даже не глядя на него. Он рассматривал свои ногти на грязной руке, словно маникюр был важнее разговора. — С Урицкого, — ответил Моня. Сухо. Фактом.

Старший поднял глаза. Медленно, тягуче. Усмехнулся — гнилой, кривой усмешкой, обнажившей металлический фикс сбоку. Переглянулся со своими дружками. Те остались невозмутимы, как камни. — С Урицкого, говоришь? — переспросил он. — А это наша земля. Соломбальская. Вы чё,

не знали, что ли, салабоны? Тут чужим ходить нельзя. Особенно таким нарядным.

Последнее слово явно относилось к облезлой кроличьей шапке Вовки. — Мы просто шли, — внезапно подал голос Вовка. Тон был жалобным, заискивающим, предательским. — Мы не знали. Мы уйдем. — Заткнись, — бросил один из двоих, стоявших по бокам. Не повышая голоса. Просто констатировал. И Вовка замолк. Съежился, став еще меньше.

Моня понимал математику ситуации идеально. Их двое. Тех трое. Пути назад нет — там открытая местность, они догонят в два прыжка. Пути вперед нет — они перекрыли весь проход между гаражом и парапетом. Будет драка. Вернее, избиение. Взрослые коты играют с мышатами.

Старший шагнул к Моне. Сделал это вальяжно, вразвалочку, засунув руки в карманы. Моня инстинктивно подобрался, напряг мышцы пресса, приготовившись закрыть голову руками. Но удар пришел неожиданно. Не кулаком. Ногой. Тяжелый рабочий ботинок врезался прямо в солнечное сплетение.

Из легких разом выбило весь воздух. Моня сложился пополам, издав сиплый звук продырявленного мяча. Прямо перед его носом по утопанному снегу покатилося яблоко. Обычный красный «джонатан», который мать дала с собой вместо бутерброда. Яблоко подпрыгнуло и укатилось под гараж. Следом — еще удар. Сбоку, по голове, плашмя, жестким носком берца. В ушах зазвенело, во рту появился при-

вкус меди. Он упал на колени, прямо в грязную кашу.

И тут началось. Они били его ногами. Не сильно — профессионалы никогда не бьют сильно, чтобы не оставить следов, за которые могут спросить опера. Они били расчетливо. По почкам. По печени. По бедрам, чтобы отсушить ноги. По спине, по ребрам. Моня закрылся руками, сцепив их замком на затылке, как учили на уроках НВП. Локти он прижал к бокам, защищая почки. Но тяжелые удары сыпались отовсюду, пробивая любую защиту. Ботинки были твердые, неподъемные. Каждый удар отдавался вспышкой белого света под веками.

Вовка стоял в стороне. Он уже не ревел. Он просто скулил, закрыв голову руками, пока кто-то из нападавших небрежно, проходя, не толкнул его в грудь. Вовка опрокинулся навзничь, подняв столб снежной пыли, и больше не поднимался. Моня не видел, что с другом. Его поле зрения сузилось до грязных рифленых подошв, мелькающих перед глазами. Он слышал мат, хриплое дыхание парней и мерзкий хруст снега, когда один из них наступил каблуком на его пальцы левой руки.

— Будешь по чужим дворам шлаться, Урицкий? — крикнул ему сверху старший. В голосе не было злобы. Было любопытство исследователя.

Моня хотел ответить. Хотел плюнуть ему в рожу кровью. Но из горла вырвался только булькающий хрип. Он лежал на боку, подтянув колени к самому подбородку, принимая удары обмякшим телом. Он ждал, когда закончится. Когда

им надоест. Когда они пойдут пить портвейн.

— Будешь?! — повторил старший. Ему нужен был спектакль. — Не буду... — выдохнул Моня в снег. Тихо. Почти неслышно. — Громче! Не слышу! — сапог жестко пихнул его в бок. — НЕ БУДУ! — заорал Моня что есть силы. В этом крике было всё. Вся накопленная за сегодняшний день боль. Вся ненависть к матери, к школе, к этим грязным сапогам. И обещание, которое он давал самому себе, лежа в этой ледяной грязи. Обещание выжить. Обещание вернуться.

Удары прекратились так же внезапно, как и начались. Послышался хруст тяжелого снега под быстрыми шагами удаляющихся сапог. Потом — довольный, лающий хохот. Потом они скрылись за поворотом, растворились в синих зимних сумерках.

Наступила тишина. Оглушающая, звенящая в ушах тишина. Только ветер продолжал гудеть в железных листах кровли и где-то вдалеке, на той стороне канала, тоскливо гавкала собака.

Моня лежал на снегу, не шевелясь. Он боялся пошевелиться, чтобы понять, целы ли кости. Он чувствовал, как снег тает под его телом, пропитывая одежду. Как холод проникает сквозь слои ткани прямо к коже, смешиваясь с горячей пульсацией боли. Кровь стучала в висках.

Он открыл глаза. Небо было всё таким же низким и равнодушным. Снежинки падали медленно, вертикально, ложились ему прямо на ресницы, на разбитую губу, на ссадину

на лбу. Он смотрел в это серое ничто и думал отстраненно, почти философски. О том, что эти трое — они ведь тоже когда-то были маленькими. Их тоже, наверное, били. Матери, отцы, улица. Но они выросли. И они стали теми, кто бьет. Цепочка продолжалась. Закон сохранения боли.

И он, Моня, тоже вырастет. Мясо нарастет на костях. Кулаки станут тяжелыми. И он тоже сможет бить. Но он не будет бить слабых. Никогда. Он не станет опускаться до их уровня. Он будет бить таких, как эти. Наглых. Сильных. Тех, кто думает, что право дано им от рождения. Он станет сильнее их. Настолько сильным, что Светка перестанет смеяться над его кедами. Настолько сильным, что мать задумается, прежде чем поднимать на него руку. Он станет тем, кого боятся. Тем, чья тень падает впереди него самого. И тогда он сможет защитить тех, кто слабее. Тогда круг разорвется.

Он лежал так долго, пока мороз не начал всерьез пробираться до костей, угрожая превратить его в ледяную статую прямо посреди города. Потом он со стоном сел. Отряхнул с куртки снег. Руки слушались плохо. Колени дрожали. Он поднялся на ноги, шатаясь, как пьяный. Подобрал свой рваный портфель, из которого высыпалась половина учебников. Шапка осталась в грязи.

Прихрамывая, он пошел домой. Каждый шаг отдавался острой болью в правом боку, там, где саданули особенно...удачно. Боль была тупой, ноющей, она мешала вдохнуть полной грудью. Он шел и думал только об одном: «Запомни.

Запомни этот запах мазута. Запомни вкус крови во рту. Запомни их лица под шапками — особенно того, высокого, со сплевывающим окурком. Ты вернешься. Вырастешь и обязательно вернешься сюда. Но не за тем, чтобы просить закурить».

Вечер опустился на город быстро, накрыв Архангельск тяжелым ватным одеялом. Фонари на Урицкого зажигались через один, моргая желтым, умирающим светом. Моня поднялся по скрипучему крыльцу. Ключ никак не попадал в замочную скважину замерзшими, негнувшимися пальцами.

В квартире пахло всё так же — щами и сыростью. Но теперь к этому примешивался еще один запах. Запах страха. Моня вошел тихо, стараясь не шуметь. Снял куртку, бросил её прямо на пол в коридоре. Тканья упала с мокрым шлепком. Он прошел в комнату, стянул заледеневшие ботинки. Носки промокли насквозь, пальцы ног ничего не чувствовали.

Он сел на край дивана. Пружины привычно взвизгнули. В комнате было темно, только квадрат окна светился мертвенным фиолетовым светом уличного фонаря. На стене портрет Высоцкого смотрел на него укоризненно. Моня сидел неподвижно, прислушиваясь к своему телу. Болело всё. Ребра при каждом вздохе стреляли огнем. Голова гудела, как колокол после удара. Но хуже всего был холод. Он засел глубоко внутри, в костном мозге, и никакое тепло квартиры не могло его выгнать.

Из-за ширмы послышался шорох. Мать села на кровати. Старый диван издал протяжный стон. — Сынок? — голос был сонным, вязким. — Ты чего в темноте сидишь?

Моня не ответил. Он боялся, что если откроет рот, то начнет трястись. Или зарыдает. А плакать нельзя. Плачут те, кого добивают ногами в гаражах. А он выжил.

Мать откинула занавеску. Свет из кухни упал полосой на пол, осветив его ноги в рваных штанах. Она увидела лицо. Вернее, то, что от него осталось. Разбитую губу, которая уже начала опухать, закрывая нижний ряд зубов. Ссадину на скуле, наливающуюся багровым. Синяк вокруг глаза, который пока был просто красным, но к утру станет лиловым.

Она охнула. Звук получился тихим, похожим на выдох выбитой двери. Она вскочила, подошла к нему. В руках у неё оказалась старая жестяная коробка из-под леденцов, где хранилась аптечка. — Кто? — спросила она севшим голосом. Руки, державшие вату и пузырек с зеленкой, мелко дрожали.

Моня молчал. Он смотрел в стену, поверх её плеча. Смотрел на трещину-карту Африки. — Я спрашиваю: кто?! — голос её стал жестче, сорвался на хрип. Она схватила его за подбородок, повернула лицо к свету, профессионально осматривая повреждения — сказывались годы работы санитаркой в травмпункте до завода. — Соломбальские? Опять эти черти? Говорила тебе — не ходи через канал! — Никто, — выдавил Моня. Слово далось тяжело, разбитые губы саднили. — Упал. С горки катался. Лед присыпало, не заметил.

Это была самая глупая ложь в мире. Какие горки в феврале, когда снега по колено, а лед везде отполирован до блеска? Она знала это. И он знал, что она знает. Она всегда знала. Но правила игры требовали соблюдения сценария.

Мать отпустила его подбородок. Её плечи опустились, словно из них вынули стальной стержень. Она тяжело опустилась на табурет. Посмотрела на свои руки — красные, потрескавшиеся от стирки и химикатов. Потом снова взглянула на сына. В этом взгляде больше не было злости. Только бесконечная, глухая усталость женщины, которая проиграла эту жизнь задолго до рождения ребенка, и теперь лишь пытается спасти остатки того, что любит. — Отец твой, — сказала она медленно, глядя куда-то сквозь стену. Каждое слово падало, как камень в глубокий колодец. — Он тоже думал, что сильный. Вечно с пацанами. Двор на двор. Ремесленное училище. В компаниях шатался, себя показывал. Кулаками махал. А кончил плохо. Очень плохо, сынок. Не дай бог тебе повторить.

Моня дернулся. Впервые за вечер боль отошла на второй план. Любопытство обожгло сильнее побоев. — Какой он был? — спросил он тихо. — Расскажи.

Мать замерла. Спина её напряглась, превратившись в натянутую струну. Она долго молчала, перебирая пальцами край байкового халата. Казалось, она взвешивает слова, решая, какую дозу яда можно выдать сегодня. — Никакой, — наконец бросила она резко. Взяла таз с недостираным бе-

льем, стоявший тут же, в углу комнаты, и пошла к выходу, волоча его по полу. Бросила через плечо, не оборачиваясь: — Забудь. Нет его. И не было. Ложись спать. Поздно уже.

Занавеска закрылась. Стало темно. Моня слышал, как мать громыкает цинковым тазом на кухне, выплескивая грязную воду. Слышал, как снова легла — пружины скрипнули коротко, безнадежно.

Он остался сидеть в темноте. Дышать приходилось мелкими глотками воздуха — глубокие вдохи взрывались болью в ребрах. Он смотрел на трещину-парусник на потолке. Корабль никуда не плыл. Он застрял в штукатурке навсегда.

Моня думал об отце. О тех трех парнях. О матери, которая бьет ремнем, потому что иначе любовь жжет её изнутри слишком сильно. Об учительке, для которой он — просто строчка в журнале. И о Светке. О её веснушках, которые сейчас наверняка блестят под лампой дневного света у неё дома, пока она делает уроки. Он хотел, чтобы она когда-нибудь посмотрела на него. Не как на оборванца с последней парты. Не как на пустое место. Как на человека, которого стоит бояться. Или... любить. Он не знал точного названия этому чувству. Оно было огромным, горячим и совершенно неуместным среди этого холода.

Но в груди, там, где минуту назад лежала тяжелая, бесильная апатия, разрасталось что-то другое. Что-то тёмное, горячее и жгучее. Это не был страх перед соломбальскими. Страх вышибли вместе с воздухом из легких. Это не была

обида на мать. Это было нечто новое. Сухое. Острое. Похожее на кристаллик льда, который падает в перенасыщенный раствор. Искра, которая должна упасть в угольную топку.

Искра, которая зажжется через несколько лет и осветит его путь. Темный, извилистый путь, который будет усеян чужими и собственными костями.

Моня встал. Подошел к столу. Сел на жесткий стул. Положил перед собой тетрадь по алгебре. Формулы плыли перед глазами. Он взял ручку. Стержень царапнул бумагу, оставив жирную синюю точку. Он не знал решения примера. Да и наплевать было на пример.

Главное решение он принял сегодня. Там, в снегу, глядя на уходящие спины.

Он заснул под утро, сидя за столом, уронив голову на скрещенные руки. Во сне ему снова привиделся парусник. Огромный, белокрылый фрегат с кроваво-красными парусами. Он плыл по черной воде Северной Двины, но ветер дул не в ту сторону. Корабль кружился на одном месте, затянутый в невидимую воронку, не в силах вырваться из серого, холодного города. И на палубе, у самого борта, стояла Светка. Она смеялась, махала ему рукой, звала к себе. Веснушки сияли золотом. Но сколько бы он ни тянул руки, корабль не мог подойти ближе. Расстояние между ними оставалось неизменным.

Конец первой главы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.